
А. М. ПАНЧЕНКО

Перспективы исследования истории древнерусского стихотворства

Как в общих курсах, так и в специальных работах история древнерусской поэзии (имею в виду поэзию книжную) начинается, как правило, с XVII, в лучшем же случае — с конца XVI в. Еще в середине прошлого столетия А. П. Милюков заявлял: «История нашей поэзии... распадается на две части: на древнюю поэзию — до времен Петра Великого, и новую — с эпохи преобразования России».¹ Период XI—XVII вв. он характеризовал как эпоху «неподвижно-однообразных понятий, продолжительного сна, лишенного даже видений».²

С той поры, когда писались эти строки, наши знания о древнерусской литературе неизмеримо расширились. Концепции, отрицающие эстетическую ценность произведений Древней Руси, кажутся теперь курьезом. Однако история старинного стихотворства до сих пор не написана. Более того, нет, пожалуй, другой темы, которая была бы так скудно и отрывочно разработана. Мы как-то старались не замечать или во всяком случае не пытались интерпретировать следующего поразительного обстоятельства: если другие славянские народы в средние века создали очень обширную, разветвленную поэзию, которая представлена и эпическими поэмами, и лирикой, и стихотворной драмой (эти виды литературы есть у западных славян — чехов и поляков — и у южных — в эпоху расцвета далматинских городов), то в древнейшей письменности восточных славян на первый взгляд ничего подобного не было.

Следующее категорическое утверждение А. С. Орлова в общем молчаливо разделяется многими историками древнерусской литературы: «В русской феодальной книжности не было специально стихотворных жанров, и если встречались в прозе ритмичность, рифмование или „напевность“ — это шло от эпоса. Русских „книжных стихотворений“ как самостоятельного литературного рода не выработалось, по-видимому, до эпохи Московского государства».³ Соображения о стихотворстве киевского периода ограничиваются именно отыскиванием ритмизованных, «напевных», по терминологии А. С. Орлова, пассажей в заведомо прозаических памятниках.

Если обратиться к наиболее солидному общему курсу по старинной русской литературе, имею в виду первые тома академической «Истории русской литературы», то нетрудно найти множество соображений о ритмиче-

¹ А. П. Милюков. Очерк истории русской поэзии. СПб., 1847, стр. 6.

² Там же.

³ А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVII веков М.—Л., 1945, стр. 342.

ской природе отдельных древнерусских текстов. «Ритмически организованную речь» находит автор параграфа о «Иудейской войне» Иосифа Флавия:

Вспомните же, яко нази,
а мы в оружии,
Они пеши,
а мы на коних ⁴

и т. д.

В разделе о «Девгениевом деянии» говорится: «Были ли оригиналы русских переводов написаны в стихах или в прозе, мы достоверно не знаем, но некоторые элементы ритма и даже внутренние рифмы, встречающиеся в русском тексте, позволяют предположить, что у переводчиков была стихотворная поэма и, передавая греческие стихи, они ориентировались на стиховые формы русской устной народной поэзии (былины, лирические песни)». ⁵ Далее автор раздела подкрепляет эти соображения небольшим числом примеров. ¹

В главе «Фольклор Киевского периода» утверждается, между прочим, что тексты клятв в договорах Игоря и Святослава с греками также несут следы ритмической организации:

Да не имуть помощи от бога, ни от Перуна,
Да не ушитяться щиты своими,
И да посечени будут мечи своими,
И от стрел и от иного оружия своего,
И да будут раби в съ век и в будущий.

(Лаврентьевская летопись под 944 г.) ⁶

Автор главы находит ритм и в других местах летописных текстов. Так, в Ипатьевской летописи под 1022 г. ⁷ он выделяет «рассказ, сохранивший следы ритма»:

И вышедъ в землю его
И вья все имение его
И жену и дети его
И дань возложи на касогы

Строки о походе Владимира Мономаха на половцев, которые читаются и в Ипатьевской летописи, в тексте главы разделены на стихи, здесь даже проставлены ударения (!):

Възяша бо тогда скоты и овцы
и коне и вельблуды и вѣже
съ добытькомъ и съ челядью
и зайша печенеги и тѣрки съ вѣжами.

(Ипатьевская летопись под 1103 г.)

Указания на предположительно стихотворные куски можно найти и в других работах. Так, в «Поучении» Владимира Мономаха, по мнению Н. В. Водовозова, «явно ощущается песенная ритмика, можно уловить даже приблизительную рифму:

бог и святой Борис
не да им мене в користь». ⁸

Общим в этих рассуждениях, принадлежащих различным авторам, является то, что ни в одном случае нельзя сказать достоверно, стих это

⁴ История русской литературы, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 150.

⁵ Там же, стр. 154.

⁶ Там же, стр. 221.

⁷ Там же, стр. 251.

⁸ Н. В. Водовозов. История древней русской литературы. М., 1962, стр. 73.

или проза, случайно или неслучайно возникает ритмический рисунок или рифма.

В самом деле, строки о походе Владимира Мономаха на половцев, извлеченные из Ипатьевской летописи под 1103 г., можно рассматривать и как стихи в прямом смысле слова (как свободные тонические стихи с тенденцией к дактилическому окончанию, с пропуском акцента в 3-й строке и добавлением в 4-й), и как ритмическую прозу (здесь мы встречаемся с так называемым ритмом перечисления, как и в примере из Ипатьевской летописи под 1022 г.; этот фразовый ритм возникает совершенно естественно — интонационные паузы после каждого слагаемого перечня совершенно неизбежны), и, наконец, просто как прозаический кусок. Причем это толкование в каждом отдельном случае будет зависеть не от особенностей «интуиции» исследователей или не столько от их субъективного восприятия, сколько именно от неясности границ между прозой и стихом (я имею в виду названные примеры). Однако стоит отметить, что переходные между прозой и стихом явления — дело обычное в литературах других славянских народов, в частности в древнечешской письменности. Как пример можно напомнить хотя бы следы рифмовки в «Штильфриде», памятнике, возникшем где-то во второй половине XIV в.; однозначный ответ — проза ли здесь или испорченный безразмерный стих с восьмисложной «осью» — будет, по всей видимости, неправильным. В тот период развития чешской литературы, когда появился «Штильфрид», происходила сложная борьба между старой рыцарской (поэтической) традицией и новой прозаической (бюргерской) тенденцией, так что появление такого «компромиссного» явления в общем оправдано.

Я уже не говорю о том, что ударения, расставленные в летописном отрывке А. И. Никифоровым, абсолютно произвольны: здесь мы встречаемся с явной и частой еще, к сожалению, модернизацией, когда исследователь переносит нормы современного языка на язык древнейшей эпохи, в данном случае на древнерусский язык киевского периода.

Известно, и это не раз подчеркивалось виднейшими отечественными и зарубежными стиховедами, что «для исследования принципов стихосложения определенной эпохи, как и для решения общего вопроса об отличии стиха от прозы, плодотворно изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, быть может мнимой. В первую очередь следует обращаться к наиболее выраженным формам стиха, относительно которых не может быть сомнения в их природе».⁹

Итак, если мы априорно допустим существование в киевскую эпоху книжного, «искусственного» стихотворства, то мы должны искать нечто, совершенно отличное от прозы. Поиски эти будут затруднительными по разным причинам. Придется отказаться от привычки связывать со стихами своеобразное графическое изображение, когда каждая стихотворная строка (стих) пишется отдельно от другой. Особые трудности проистекают от слабой разработанности истории русского ударения.

Наконец, для различных периодов истории русского языка весьма сложно восстановить слоговой рисунок слова. Здесь не поможет даже точное установление хронологического предела падения редуцированных, хотя такое установление и в принципе кажется маловероятным (мы имеем в виду живой язык, а не графику), ибо в искусственном, связанном с литургией или — шире — церковным бытом произношении редуцированные сохранялись еще очень долго, в богослужбной практике старообрядцев поморского согласия они, например, сохраняются и до сих пор.

⁹ Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.—Л., 1958, стр. 14.

Трудности эти, однако, не должны казаться непреодолимыми. Ведь то обстоятельство, что старинные рукописи греческих и латинских стихотворных памятников, как и средневековых византийских, написаны «в строку», не помешало установлению их поэтической природы. Если же это было естественно для византийских поэтов, то, учитывая объем и регулярность русско-византийских культурных связей, не следует исключать аналогичное явление и для Древней Руси.

Теория стиха, к сожалению, еще не создала безусловно надежной методологической и даже методической и технической базы, хотя проблемы метрики вообще относятся к наиболее разработанным проблемам филологии. Впрочем, для наших целей не обязательно углубляться в сравнительную оценку тех или иных направлений в изучении стиха. Достаточно, как кажется, руководствоваться старым правилом: стих есть правильное чередование соизмеримых единиц — стоп, акцентных групп, долгих и кратких слогов, стихов равной длины или, наконец, повторяющихся интонационных комплексов (в последнее время проблемы интонации занимают, несомненно, центральное место в стиховедческих исследованиях различных направлений). Необходимо лишь еще раз подчеркнуть, что нужно по мере возможности избегать пограничных явлений между прозой и стихом: пограничные явления полезно привлекать тогда, когда вопрос в общем решен; когда же он лишь ставится, нужно останавливаться только на таких текстах, которые явно обнаруживают стихотворное строение.

Исследователи древнейшего периода истории славянской письменности уже давно обратили внимание на группу стихотворных памятников, которые своими корнями уходят еще в великоморавскую эпоху. Честь открытия этих старославянских стихотворений принадлежит А. И. Соболевскому. Он опубликовал их неоднократно в журнале «Библиограф», в «Трудах XI археологического съезда», отдельными брошюрами на русском и болгарском языках и т. д. Среди этих текстов были Похвала царю Симеону, Проглас к Евангелию, Азбучная молитва Константина Преславского и др. В 1923 г. Р. О. Якобсон прибавил к открытым А. И. Соболевским стихотворениям один из текстов Порфирьевского листка (ангели възиграйте ся), кондак св. Симеону, стихире Дмитрию Селунскому и некоторые другие тексты.¹⁰ Десятью годами позднее Н. С. Трубецкой восстановил ритмический рисунок похвалы Григорию Назианзину,¹¹ которая содержится в так называемом

¹⁰ Р. О. Якобсон. Заметка о древнеболгарском стихосложении. — ИОРЯС, т. XXIV, № 2. Праг, 1923, стр. 351—358.

¹¹ N. Trubetzkoy. Ein altkirchenslavisches Gedicht. — Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. XI, 1/2. Leipzig, 1934, стр. 52—54.

Вот реконструированный Н. С. Трубецким текст этой «похвалы»:

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | Григорие тѣломъ чловѣче а доушежъ анѣле | (17) |
| 2 | ты бо тѣломъ чловѣкъ съи анѣлъ ѣви са | (16) |
| 3 | Оуста бо твоѣ ѣко единъ отъ серафимъ | (16) |
| 4 | Бога прославѣжтъ и всь миръ просвѣщѣжтъ | (17) |
| 5 | Правыа вѣры казаниемъ тѣмъ же и мене | (16) |
| 6 | Припадажщъ къ тебѣ любовьи и вѣрою | (16) |
| 7 | Прими и бѣди ми оучитель и просвѣтитель | (17) |

Следует обратить внимание на симметричное построение этого стиха: 17—16—16—17—16—16—17.

паннонском Житии Константина-Кирилла.¹² Там, как известно, говорится, что автором этой похвалы был сам первоучитель славянства. Вскоре после этого Драгутин Костиц, исследуя «Память» Константину-Кириллу и стихиры из службы Мефодию, не только бесспорно установил их стихотворную природу, но и расшифровал акrostихи, из которого можно узнать, кто был автором службы Мефодию: «Добро, Методи, та поѣж, Константин(ъ)» (Константин Преславский, автор «Азбучной молитвы» и «Учительного евангелия»)).¹³

В послевоенные годы за рубежом появились научные издания некоторых древнейших памятников славянской гимнографии, а также научные работы о старославянском стихе и связи его с музыкой, а также о связи славянских переводов с византийскими оригиналами.¹⁴ Представления о церковнославянских стихотворениях и о количестве их, о соотношении с литургической музыкой и о принципах старославянского стихосложения со времен А. И. Соболевского значительно изменились или во всяком случае чрезвычайно усложнились.

Уже первые исследования установили, что старославянское стихосложение основано на одной из современных ему византийских стихотворных систем: это копия так называемой политической системы, которая базируется на равносложности всех стихотворных строк (стихов), обычно имеющих цезуру. Каждый стих имеет женское окончание, внутри же каждой стихотворной строки расстановка акцентов более или менее свободна.¹⁵

Церковнославянские поэты пользовались стихотворными строками разной длины: и 12-сложными с цезурой после пятого или после шестого слога (последний вариант, как показал Р. О. Якобсон, это славянская модификация, вызванная стремлением к уподоблению первого полустишия второму); употребителен 11-сложный стих, по-видимому, это частный случай эволюции византийского политического стиха на славянской почве. Здесь конечная часть первого полустишия ориентируется на конечную часть полустишия второго, а концы полустиший в византийской политической системе несут особенно большую ритмико-смысловую нагрузку.

В те времена, когда А. И. Соболевский «открывал» первые церковнославянские стихи, безоговорочно считалось, что если в одном и том же поэтическом тексте встречаются строки разной длины, например из одиннадцати и двенадцати слогов, то это, несомненно, говорит о недостаточной сохранности текста. Однако дальнейшие исследования показали, что это положение не соответствует действительности. Во-первых, уже в ранних работах Р. О. Якобсона было установлено, что длина стихов в различных случаях может быть различной, причем амплитуда этих колебаний очень велика. В качестве примера приведу великолепное стихотворение «Ангели възиграйте сла», восстановленное Р. О. Якобсоном по тексту Порфирьевского листа:

¹² Напомним, что вообще в кирилло-мефодиевской агиографии, особенно в самых ранних версиях их житий, все чаще находят стихотворные цитаты. Ср., например, пассажи, написанные гекзаметром, в том же паннонском Житии Константина-Кирилла (ср.: R. Burgi. A history of the Russian hexameter. Yale University, 1954, стр. 5—8).

¹³ Dragutin Kostić. Бугарски епископ Константин — писац службе св. Методију. Byzantinoslavica VII. Praha, 1937—1938, стр. 189—211.

¹⁴ Перечень и оценку этих работ см.: Roman Jakobson. The slavic response to byzantine poetry. — XII-e Congrès international des études byzantines. Ochride, 1961, Rapports VIII, стр. 249—265.

¹⁵ О византийском стихосложении см., например: K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur. 2 Aufl. München, 1897, стр. 655—705.

- 1 Ангели възиграйте сѧ⁹ | радуите сѧ земьнии
 2 и тръжьствоуйте радостно¹⁰ | яко Христось въскресе
 3 Дръжавъ раздрюши смърть⁹ | и мирови нетьльние
 4 мвясѧ мурносыцамъ⁹ | трядньевно отъ гроба
 5 яко отъ чрътога женихъ¹⁰ | тьмь пѣвѣще рѣками
 6 пѣсньми рѣцѣмъ веселие¹⁰ | пасха господьни пасха
 7 (пасха) вървнымъ избавленю⁹ | и печали отьятие
 (пасха)
 8 и мирови свѣтлость⁸⁻⁹ | пасха нова пасха красьна
 (пасха)
 9 пасха троицныи чсть⁹ | и божьствнамъ слава
 Христось въскресе изъ мрътвыхъ

Во-вторых, обнаружили и другие системы, когда внутри одного стихотворения встречаются сложные формы комбинаций строк разной длины. Р. О. Якобсон, например, приводит такие силлабические схемы: 5—6—8 (8—6—5) 7—7—4—5—3—5 (12 стихов ирмоса «Земьнь кѣто слыша таковая»); 8 (5—5—5)8—8 (5—5—5) (9 стихов ирмоса «Вьсь еси желание», построенного на чередовании восьмисложных и пятисложных строк).¹⁶

В-третьих, что наиболее важно, коренным образом изменились наши представления об объеме церковнославянской поэзии. Если А. И. Соболевский сводил ее к нескольким стихотворениям, то в настоящее время установлено, что правильное силлабическое строение обнаруживают сотни текстов, относящихся к литургической гимнографии. Разумеется, соотношение слова и напева еще точно не определено. Однако ясно, что при значительной организующей роли мелодии достаточно велика была роль и чисто декламационной структуры стиха.

Сравнение с греческими источниками доказывает существование в церковнославянской литургической поэзии зрелой и даже изощренной стихотворной техники. Славянские переводчики интересовались не только количеством слогов в каждом стихе (причем они иногда намеренно — в зависимости от общего стихотворного комплекса — несколько видоизменяли слоговую схему оригинала), но и расположением акцентов и акцентных групп.

Так, несколько неожиданная форма связки *ю* (вместо ожидаемого *юсть*) в стихе «таково тие чудо» объясняется необходимостью сохранить схему ударений греческого образа (*тоуботъ собъ то дабра*).

Исследованием особенностей церковнославянского стиха и связи его с напевом пока ограничивается работа в этой области. Как фактор культуры эта древнейшая силлабическая поэзия еще не оценена.

Историк русской литературы, обращающийся к древнейшей славянской поэзии, должен иметь в виду, что реконструкции и филологическое исследование церковнославянских стихотворений, как связанных с литургической музыкой, так и имеющих «декламационный» характер, сами по себе еще не оправдывают включения их в древнерусскую поэзию. Следует отметить, что место и роль этих памятников в истории славянских литератур еще остаются невыясненными. Первоочередные проблемы, встающие при изучении древнейшей славянской поэзии, можно сформулировать так: воспринимались ли в Древней Руси эти тексты как стихотворные, т. е. принципиально отличные от прозы? Если так, сколько примерно времени могла продолжаться «жизнь» их на русской почве? Каково отношение реализованной в них силлабической системы к просодическим особенностям русского языка киевской эпохи? Наконец, положили ли они начало длительной традиции?

¹⁶ Roman Jakobson. The slavic response to byzantine poetry, стр. 3—4 (251—252).

Не нужно забывать, что мы имеем дело большей частью не только с переводными памятниками, но также памятниками, созданными вне Руси. Разумеется, каждый переводной памятник становится частью культуры той среды, которая его усвоила. Однако это бесспорное положение носит слишком общий характер, поэтому оно вряд ли может помочь установлению истоков русской книжной поэзии. В связи с этим сформулированные вопросы приобретают, как мне кажется, чрезвычайно важное значение. Решение их потребует много усилий. В предлагаемой работе можно лишь попытаться наметить приблизительные пути будущих исследований.

А. И. Соболевский, рассматривая тексты «Похвалы царю Симеону» и «Азбучной молитвы» Константина Преславского, заявлял: «Последние дошли до нас в русских списках конца XI—начала XIII веков, сделанных русскими писцами, не понимавшими, что они — переписывают стихи... (курсив мой, — А. П.)».¹⁷ То же самое утверждал Н. М. Каринский¹⁸ и др. Л. И. Тимофеев писал, что церковнославянские стихотворения были «лишь графическим подражанием внешнему виду стихотворных строк», что «они представляли собой уникальное явление», что в них «не было ни ритма, ни рифмы».¹⁹

Эти взгляды после работ Р. О. Якобсона, К. Хега, Э. Кошмидера и других исследователей следует, видимо, признать несостоятельными. Если говорить о графических особенностях русских списков церковнославянских стихотворений, то писцы достаточно последовательно выделяли не только отдельные стихи, но и цезуру. Конечно, тот факт, что в Святославовом сборнике 1073 г. стихотворный текст предстает перед нами в привычном графическом оформлении,²⁰ единичен (только здесь каждый стих начинается с новой строки и с большой буквы, причем важно, что в данном случае русский книжник имел дело не с «азбуковником», где стихотворные строки могут быть выделены из необходимости следовать каждой букве азбуки). Однако существовала заимствованная из византийской книжности система точек, которая обозначала ритмический рисунок текста, причем в основном эта система применялась правильно.²¹

Несомненно, что одно наличие системы пунктуации, имеющей целью подчеркнуть ритмический строй текста, — довольно слабый аргумент в пользу того, что русские писцы чувствовали поэтический характер текста: это могло быть слепым копированием южнославянских оригинальных рукописей. Поэтому необходимо обратиться к другому вопросу: в каком отношении стояла силлабическая церковнославянская система к просодическим свойствам русского языка?

¹⁷ А. И. Соболевский. Церковнославянские стихотворения конца IX—начала X века. Библиограф. СПб., 1892, стр. 4.

¹⁸ Н. М. Каринский. Византийское стихотворение Алфавитарь в русском списке XI в. — ИлоРЯС, т. III, кн. 1. Л., 1930, стр. 266.

¹⁹ Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958, стр. 206.

²⁰ Это мимоходом отметил уже А. И. Соболевский (Церковнославянские стихотворения..., стр. 5), что, однако, не поколебало его безоговорочного недоверия к русским переписчикам.

²¹ Возьмем, например, «Азбучную молитву» Константина Преславского, которая читается в рукописи Московской синодальной библиотеки, № 262, XII—XIII вв. (снимок см.: Николай Каринский. Хрестоматия по древнецерковнославянскому и русскому языкам, ч. I. СПб., 1904, стр. 104—105). После каждого стиха (стихотворной строки) ставятся четыре точки, расположенные крестообразно; после цезуры — просто точка на середине строки. Из общего числа в сорок стихов точка-цезура имеется в 27 стихах: 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40.

При всей туманности наших сведений о языковых процессах в дописьменный период, об особенностях народной поэзии эпохи славянского языкового единства мы все же можем опираться при решении этой проблемы на некоторые бесспорные положения сравнительного языкознания. В большинстве славянских языков на рубеже I и II тысячелетий нашей эры произошло коренное изменение просодических свойств. С утверждением экспираторного ударения различие гласных звуков по длительности постепенно исчезло. Древнее и общее для всех славянских групп музыкальное ударение удержалось лишь в сербо-хорватском языке. Точно так же для всех славянских языков были общи «еровые изменения», которые существеннейшим образом сказались на слоговом рисунке слова. В результате падения редуцированных много слов сократилось, изменился одновременно и ритмический рисунок речи.

Редуцированные заднего и переднего ряда выполняли свою слоговую функцию в IX и в X вв. После их падения силлабические стихотворения должны были изменить свой ритмический рисунок; однако не только правдоподобно, но и возможно, что некоторые древнейшие стихотворения или песни и в этом случае сохранили свой слоговой строй, т. е. равное число слогов в каждом стихе. Это могло произойти либо при соответственном стяжении (напомним, что амплитуда колебаний слоговой длины стиха чрезвычайно велика), либо в результате какой-либо модификации текста, что допустимо при необходимости следовать напеву.

Однако эти предположения могут быть подкреплены другим фактом — традицией искусственного произношения редуцированных. В изданиях Э. Кошмидером фрагментах новгородского Ирмология по списку XII—XIII вв.²² в тексте всех 74 отрывков имеется лишь 2 (!) случая отсутствия слабых редуцированных. Этот и другие памятники древней гимнографии, по справедливому замечанию Р. О. Якобсона,²³ не отражают потерю слабых еров, точно так же «не замечают» они и стяжения двух слоговых гласных в одну. Таким образом, сам факт длительного бытования силлабических текстов на русской почве в первоначальном, неиспорченном виде не подлежит сомнению.

Очень затруднительно определить хронологические пределы проникновения на Русь церковнославянских стихотворений, декламационных или связанных с мелодией. Во всяком случае уже в третьей четверти XI в. в Киеве их знали (Святославов изборник 1073 г.). Поскольку эти стихотворные памятники в большинстве своем были так или иначе связаны с первоочередными потребностями только что отошедшего от язычества русского народа, «языка нова», говоря словами Константина Преславского (с литургией — гимнография, в частности Ирмологий, с основной христианской книгой — Евангелием — «Проглас» Константина-Кирилла, с учебными целями, возможно, «Азбучная молитва» Константина Преславского), то не будет особой натяжкой, если мы свяжем время их проникновения в Киевскую Русь с эпохой введения и распространения новой христианской религии.

В таком случае проблема «жизни» их в русской письменности должна разрабатываться и в ином направлении: именно по пути установления взаимоотношений реализованной в них византийской силлабической стихотворной системы с просодическими особенностями русского языка кануна и периода введения христианства. Наши представления о дописьменных ме-

²² E. Koschmieder. Die ältesten Norgoroder Hirmologien Fragmente. München, I, 1952; II, 1955; III, 1956.

²³ Roman Jakobson. The slavic response to byzantine poetry, стр. 255.

трических системах фольклорной поэзии различных славянских народов весьма туманны, как и о поэзии эпохи языкового единства славян.²⁴ Научное изучение ее находится в зачаточном состоянии, а выводы, которые уже сделаны, часто носят гипотетический характер главным образом потому, что исследователям приходится оперировать материалом достаточно поздним, достаточно удаленным от изучаемой эпохи. Все же можно считать доказанным, что одной из праславянских метрических систем была система силлабическая.²⁵ В период падения редуцированных силлабическая схема произведений устного народного творчества дописьменной эпохи была, разумеется, нарушена. Особенно показательным в этом отношении является пример русских былин.

В период, когда редуцированные еще выполняли слоговую функцию, «прабылины» были силлабическими, это доказано Н. С. Трубецким.²⁶ Затем они стали тоническими. Эта метаморфоза облегчалась тем обстоятельством, что в фольклорной поэзии славянских народов одновременно с силлабической системой существовал «безразмерный» стих — с неопределенным (разумеется, в известных пределах) числом слогов в стихе. Безразмерным стихом слагались и эпические произведения, и обрядовые песни. В обоих случаях это был так называемый речитативный стих, находящийся на грани между песнью в прямом смысле слова, в которой доминирует напев, и стихом декламационным, где музыкальная модификация подчинена средствам языка. В этом «безразмерном» стихе синтаксическое членение совпадало с членением стиховым.²⁷

Для нас, однако, важно, что усвоенные на Руси церковнославянские силлабические стихотворения в какой-то момент принципиально совпали с фольклорной системой. Не вызывает сомнения, что фольклор — это, если можно так выразиться, наиболее «естественное» слагаемое всякой национальной культуры, если и подверженное иноземным влияниям, то воспринимающее эти влияния лишь в том случае, когда они соответствуют не только запросам, но и законам «собственного» развития. Поэтому нет нужды говорить о «чуждости» церковнославянской силлабической поэзии. Если верно наше допущение, что она проникла в Киевскую Русь в период введения христианства, в конце X в., тогда она еще «застала» редуцированные в слоговой функции.

Впрочем, вопрос о включении церковнославянской силлабики в русскую поэтическую традицию нужно решать положительно и в том случае, если датировать ее проникновение более поздним периодом. Если это случилось в самый момент падения редуцированных и стяжения гласных (впрочем, точно эти процессы не датированы; возможно, они были отделены друг от друга значительным промежутком времени), то и тогда у нас есть все основания считать, что они в течение какого-то времени воспринимались как нечто принципиально отличающееся от прозы.

²⁴ Сумму сведений о «праславянской» поэзии дают работы известного чешского стиховеда Карла Горалка (здесь приводится и литература вопроса): Karel Hořálek. 1) Studie o slovanském verši. — Sborník filologický, XII. Praha, 1940—1946, стр. 268 и сл. 2) Přehled vývoje českého a slovenského verše (Karlova universita v Praze, fakulta filologická. Učební texty vysokých škol). Praha, 1957, стр. 5—7; в данной статье я использую многие выводы К. Горалка.

²⁵ См.: R. Jakobson. 1) Studies in comparative slavic metrics. — Oxford Slavonic Papers, III, 1953, стр. 21—66; 2) The kernel of comparative slavic literature. — Harvard Slavic Studies, I, 1953, стр. 24 и сл.

²⁶ N. S. Trubeczkij. W sprawie wiersza byliny rosyjskiej. В кн.: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wójcickiemu. Wilno, 1937, стр. 100—110.

²⁷ R. O. Jakobson. Verš staročeský. — Československá vlastivěda (ČsVI), III. Praha, 1934, стр. 429.

Напомним еще раз о новгородском Ирмологии в списке XII—XIII в., где последовательно сохраняются редуцированные в слабом положении. Весьма примечателен факт спора по вопросу о датировке перевода Ирмологии между К. Хегом и Р. О. Якобсоном. Первый утверждал, что этот перевод был сделан в XII столетии,²⁸ второй относит его, исходя из архаических черт в языке, к значительно более раннему времени.²⁹ В любом случае правильное употребление еров говорит о том, что в «искусственном» произношении они продолжали выполнять слоговую функцию и в XII—XIII вв.

Итак, церковнославянская поэзия, по всей видимости, достаточно долго «жила» в русской литературе. Однако вопрос о том, положила ли она начало самостоятельной традиции, хотя бы в гимнографии, еще ждет своего исследователя. Здесь можно лишь напомнить о том, что древнейшие стихотворения представлены и в списках более поздних, в частности XV в.; что «Азбучная молитва» находит аналогию в многочисленных русских «азбуковниках»; что в XIV—XV вв. происходит интенсивное обращение к литературе киевского периода; что в эпоху второго югославянского влияния на Русь проникают многие балканские оригинальные и переводные памятники. Все же пока неясно, можно ли говорить о сохранении или возрождении старинной силлабической техники.³⁰

Несомненно, что южные славяне поддерживали церковнославянскую поэтическую традицию. Хиландарский монах Гавриил и Константин Костенчский в начале XV в. писали силлабические стихи, где по традиции принимались за слогаобразующие и редуцированные, за исключением конечного глухого.³¹ Кроме того, модифицированный старинный десятисложный политических стих лег в основу дванаестерца югославянского фольклора, а также хорватской поэзии XV в.

В русской литературе известно несколько переводных памятников XV в., которые должны быть обследованы с учетом возможного в них сохранения силлабической системы. Это «Стихи двенадцати месяцам»³² и поэма Георгия Писида «Шестоднев».³³ Возможны также интересные результаты при изучении русских литургических памятников, создаваемых в честь русских святых.

После коренных изменений в славянских языках дифференциация поэзии различных славянских народов была углублена церковным расколом и ослаблением межславянских взаимосвязей в период феодальной раздробленности. В результате этой дифференциации фольклор трех основных ветвей славянства приобрел отличительные признаки принципиального характера: у западных славян (в данном случае к ним приходится причислять словенцев) развилась силлабическая рифмованная поэзия; у славян южных —

²⁸ См.: Proceedings of the British Academy, XXXIX. London, 1954, стр. 47 и сл.

²⁹ Roman Jakobson. The slavic response to byzantine poetry, стр. 255—256.

³⁰ Любопытный материал по этому поводу содержится в кн.: Ф. Спасский. Русское литургическое творчество. Париж, 1951.

³¹ Весьма интересно, что подобный «графический» принцип сочинения стихотворений, когда в произношении они представляют нечто существенно отличное от письменного текста, был известен еще в конце IX в.: автор службы Мефодию считал за один слог пятисложное слово, поскольку оно писалось под титулом: Б(огороди)цѣ чистѣ та званѣще. Ср.: Dragutin Kostić. Бугарски епископ Константин...

³² И. Н. Жданов. Греческие стихотворения в славянских переводах. — Commentationes philologicae. — Сборник статей в честь И. В. Помяловского. СПб., 1897, стр. 81—96.

³³ Этот памятник опубликован и описан: И. А. Шляпки н. 1) Шестоднев Георгия Писида в славяно-русском переводе 1385 года. СПб., 1882; 2) Георгий Писидийский и его поэма о миротворении в славяно-русском переводе 1385 года. СПб., 1890, 31 стр. (оттиск из: ЖМНП, 1890, июнь).

силлабическая, но нерифмованная; у восточнославянских народов — поэзия тоническая.

В изучение начального периода древнерусского стихотворства центральное место должно занимать изучение стиха как такового (стихистический анализ гимнографии, определение ее места и роли среди других явлений старой русской культуры могут последовать лишь за подготовительными стиховедческими работами). Напротив, силлабическая поэзия конца XVI—XVII в. с этой точки зрения исследовалась многими специалистами,³⁴ прежде всего В. Н. Перетцом.³⁵ На обширном материале прослежены пути и особенности развития русской и украинской силлабики — от неравносложных стихов, связанных рифмой, к «правильным» виршам с равным числом слогов в строке.³⁶ В общем эта стиховая система достаточно изучена.

До сих пор, однако, остаются не решенными две важнейшие проблемы, относящиеся к «началу» и «концу» силлабики. Во-первых, все еще нет безусловного знания тех внутренних закономерностей в развитии русской поэзии, которые привели в XVIII в. к реформам Тредиаковского и Ломоносова. Однако эта проблема должна быть рассмотрена историками литературы нового времени.³⁷

Во-вторых, силлабическое стихотворство необходимо «увязать» с национальными формами русской поэзии — с устнопоэтическим творчеством,

³⁴ Библиографию см.: М. П. Штокмар. Библиография работ по стихосложению. М.—Л., 1933 [ср. дополнения Р. О. Якобсона (*Slavia*, XIII. Praha, 1934—1935) и самого М. П. Штокмара (*Литературный критик*, 1936, 8, стр. 194—205; 9, стр. 235—253)]; С. Д. Балухатый. Теория литературы. Аннотированная библиография, I Общие вопросы. Л., 1929; V. M. Zirmunskij. Formenprobleme in der russischen Literaturwissenschaft. — *Zeitschrift für slavische Philologie*, I. Berlin, 1925, стр. 117—152; В. О. Унбегаун. *Russian Versification*. Oxford, 1956, стр. 156—160.

³⁵ Перечень работ В. Н. Перетца по истории и теории поэзии см.: В. П. Адрианова-Перетц. Список печатных трудов академика В. Н. Перетца. — В кн.: В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков. М.—Л., 1962, стр. 234—253.

³⁶ Мне кажется, что не совсем правы те исследователи, которые характеризуют иногда неравносложные вирши Г. Д. Смотрицкого, К. Транквилиана-Ставровецкого и другие подобные по форме произведения как «рифмованную прозу» (ср., например: В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. I. Из истории русской песни, ч. I. СПб., 1900, стр. 78). В качестве аналогии можно привести чешский «безразмерный» стих, в котором рифмовались строки разной длины — от четырех-пяти слогов до двадцати и более. Этим стихом написаны многие чешские памятники, начиная с XIV в.: знаменитая Далимилова хроника, апокрифическая легенда «О детстве Иисуса» и др. См.: R. O. Jakobson. *Verš staročeský*. Отмечу, что «безразмерный» стих вовсе не был предшественником обычного восьмисложника чешской эпической поэзии: обе системы успешно сосуществовали и конкурировали. Правильнее, как кажется, характеризует русский и украинский неравносложный стих Унбегаун, называя его «пресиллабическим» (В. О. Унбегаун. *Russian Versification*, стр. 1—3). Не нужно забывать, что эта система употреблялась на протяжении всего XVII столетия.

³⁷ Здесь предстоит определить удельный вес различных явлений, повлиявших на зарождение силлабо-тонической поэзии: например, роль естественного «тонизирования» силлабики, о чем писали Н. И. Петров (*Труды Киевской Духовной академии*, II. Киев, 1866, стр. 329 и сл.) и особенно В. Н. Перетц («Необходимо взглянуть пристальнее в самый состав силлабических стихов и отсюда вывести и объяснить ... процесс тонизации их. Единственный способ, которым последняя могла возникнуть, — это было появление ряда гармонически расположенных ударений, появившихся впервые в двух важных пунктах, начиная с конца стиха и с цезуры, делящей его на две части». — Историко-литературные исследования и материалы, т. III. Из истории развития русской поэзии XVIII в. СПб., 1902, стр. 29—30. В. Н. Перетц говорил также о «тонизации силлабического стиха под воздействием деления его на мелкие части цезурами». — Из наблюдений над украинским виршеписанием XVI—XVII вв. — В кн.: В. Н. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI—XVIII веков, стр. 160. Ср. также статью: Неиз-

в частности, а также с предшествующим периодом развития русской литературы. Кажущаяся внезапность появления искусственной поэзии — источник концепции о зарождении силлабического стиха в прозе, разделяемой некоторыми современными авторами. По этому поводу часто цитируют одно из высказываний В. Н. Перетца (отмечу кстати, что новейшие работы по истории русской книжной поэзии так или иначе продолжают разработку положений этого замечательного учёного): «Общей основой... ритмической речи, снабженной рифмой, могло служить синтаксическое расположение предложений, в которых сказуемые, или же вообще наиболее значащие с точки зрения автора слова — выдвигались вперед или ставились в конце предложения. Естественное замедление перед новым предложением — мыслью породило уже вполне последовательно известного рода ритмичность, которую мы наблюдаем и в несомненно прозаических памятниках старинной славянорусской литературы. Рифма — первоначально глагольная или прилагательная, кажется нам результатом такого расположения предложений и явилась, думается, независимо от намерения автора, как и в народном эпическом стихе, обыкновенно безрифменном».³⁸

Действительно, примеры таких рифм в русской прозе конца XVI — начала XVII в. необыкновенно обильны.³⁹ Интересно, что в таких памятниках, как Сказание Авраамия Палицына, «Иное сказание», «Новая повесть» и другие, мы встречаем не только суффиксально-флективные рифмы (результат синтаксического параллелизма), которые, разумеется, количественно преобладают, но и косвенные рифмы и рифмоиды (хвост—возраст, прут—труп, торг—горд, дров—гроб и т. п.). В. М. Жирмунский определил это явление как эмбриональную рифму, одновременно заметив:

вестные подражатели кн. А. Д. Кантемира. — ИпоРЯС, т. I, кн. 2, 1928, стр. 335—357).

В свое время поднимался вопрос о возможном влиянии на Тредиаковского силлабо-тонических стихотворений «русских немцев» И.-В. Пауса, Спарвенфельда, Ганке и др., сочинявших в этом роде уже в конце XVII в. Эту гипотезу выдвинул П. Н. Берков: «... западное стихосложение (и именно немецкое, бывшее перед глазами у академических переводчиков) оказалось отправной точкой для перехода от силлабики к тонико-силлабике: Тредиаковский, ссылавшийся, как на источник своих опытов, на народную поэзию и на „диллическую книжку“... безусловно знал и стихотворение Спарвенфельда, и застольные песни Пауса, и перевод виршей Ганке, — все это было слишком известно, слишком на виду, и именно поэтому Тредиаковский предпочел умолчать об этом материале» [П. Н. Берков. Из истории русской поэзии первой трети XVIII века (К проблеме тонического стиха). — В кн.: XVIII век. Сборник статей и материалов под редакцией академика А. С. Орлова. М.—Л., 1935, стр. 81].

Необходимо, видимо, вернуться и к фольклорным элементам в стихе Тредиаковского, который, как известно, заявлял в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов»: «... я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренних свойств свойства нашему языку приличного; ... поэзия нашего простого народа к сему меня доведла» (В. К. Тредиаковский. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1935, стр. 351). Ср.: Г. И. Бомштейн. Тредиаковский — филолог и фольклор. — В кн.: XVIII век. Сборник В. М.—Л., 1962, стр. 249—272. Нужны, однако, не только работы о теоретических воззрениях Тредиаковского на природу и роль фольклора (перечень их см. в статье Г. И. Бомштейна, которая также выполнена в этом плане), но в первую очередь стиховедческие исследования.

³⁸ В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. III, стр. 14—15. Впрочем, еще в 1891 г. Л. Майков высказал исходный взгляд, ср.: Л. Майков. О начале русских виршей. — ЖМНП, 1891, июнь, стр. 445.

³⁹ Это отмечалось многими исследователями: Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха, стр. 205—235 (здесь, кроме многочисленных примеров, собранных самим Л. И. Тимофеевым, даны отсылки к литературе вопроса); А. А. Назаревский. 1) Очерки из области русской исторической повести начала XVII столетия. Киев, 1958; 2) О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII века. Киев, 1961.

«Как бы то ни было, искусство рифмы в книжной русской поэзии восходит, как известно, не к этим явлениям эмбриональной рифмы в древнерусской прозе, а также — не к аналогичным элементам народного песенного стиха, но к стороннему воздействию уже сложившегося в юго-западной Руси искусства силлабических виршей, возникшего, в свою очередь, под польским влиянием».⁴⁰ Таким образом, констатируя это интересное явление, В. Н. Перетц и В. М. Жирмунский в то же время уверены, что здесь мы имеем дело с прозой, а не стихом.

Напротив, Л. И. Тимофеев, не отрицая, разумеется, факта и действительности украинского и польского влияний, видит в этих явлениях «первоначальные формы стиха»: «Мы ... говорим уже об эмбриональной форме стиха в целом, а не только об эмбриональной рифме ... В процессе развития чрезвычайно свободной вначале ритмической структуры, довольствующейся, так сказать, минимумом симметричности в расположении повторяющихся элементов речи ... постепенно начинают накапливаться дополнительные признаки, усиливающие сходство строк. Появляется звуковой повтор, скрепляющий окончания и подчеркивающий конечную паузу как ритмическую константу, возникают в длинных строках внутренние паузы цезурного типа, относительно выравнивается число слогов, создаются развернутые периоды, включающие по нескольку строк (зародыш строфы) и т. д.».⁴¹ «Процесс формирования русского речевого стиха тесно связан с процессом формирования рифмы — первоначально в прозаическом тексте — и постепенной концентрации около рифмы других речевых элементов, усиливающих соизмеримость ритмических единиц».⁴²

Эта концепция в том категорическом виде, в каком находим ее у Л. И. Тимофеева, вызывает некоторые сомнения. В основе ее лежит мысль о том, что «речевой стих», не связанный с напевом, возникает лишь на определенном, довольно позднем этапе развития общества, возникает в связи с потребностями «реализовать переживания обособленной и развитой личности, претендующей на полное и резко индивидуальное раскрытие своего внутреннего мира».⁴³ Л. И. Тимофеев, оговаривая «некоторые незначительные исключения», справедливо пишет, что в течение долгого времени господствующей и в сущности единственной стихотворной системой в России являлось народное «музыкально-речевое стихосложение», основным признаком которого — единство слова и напева. Однако его социологическая интерпретация этого факта нуждается, по-видимому, в коррективах. «Музыкально-речевое построение, — говорит он, — отвечает ... общественному укладу, предшествующему развитым капиталистическим отношениям ... Постепенное развитие этих отношений, влекущее за собой рост личности, развитие письменности и т. д., необходимо ведет за собой и осложнение стихотворной культуры»,⁴⁴ т. е. приводит к смене синкретической поэзии декламационной.

Обособленная от мелодии поэзия не есть продукт капиталистической эпохи, даже если иметь в виду не развитые, а лишь зарождающиеся капиталистические отношения. Это доказывает множество историко-литературных фактов, их можно извлечь, например, из средневековых европейских литератур, не говоря уже об античности с ее многообразной поэзией. Когда неизвестный чешский поэт рубежа XIII—XIV вв. создавал свою

⁴⁰ В. Жирмунский. Рифма, ее история и теория. Пгр., 1923, стр. 259.

⁴¹ Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха, стр. 221—222.

⁴² Там же, стр. 187.

⁴³ Там же, стр. 185.

⁴⁴ Там же, стр. 187.

великолепную Александреиду, когда его современники излагали рифмованными стихами апокрифические сюжеты, когда они делали первые шаги в лирическом роде, они были уже профессиональными поэтами.

Здесь стих не следовал за напевом, мелодии не было вообще, а та нормативность, те особенности мышления и видения средневекового художника, которые были равно присущи и прозе, не могут служить основанием для отнесения подобных памятников к «непоэтическим».⁴⁵ Средневековые поэты не только писали стихами, они учились писать, например, по руководствам Жофруа де Винсо и Эберхарда.

Вряд ли будет правильным квалифицировать природу памятников типа Сказания Авраамия Палицына как «эмбриональный стих». То «брожение» стихом, о котором говорит Л. И. Тимофеев, прослеживается, по его же данным, на протяжении нескольких веков: в «Очерках теории и истории русского стиха» приводятся данные о рифмованных сочетаниях в деловой письменности не только рубежа XVI—XVII вв., но и более раннего (начиная с конца XIV в.) и более позднего времени. Правда, Л. И. Тимофеев говорит о «нарастании» качественных и количественных изменений стилистики деловых грамот», в частности и рифмующихся фраз. Для столь ответственного заявления тот материал, на котором построен соответствующий параграф «Очерков», явно недостаточен. Однако не в этом главное.

Как известно, еще в «Молении Даниила Заточника» заметно стремление к рифмовке: «Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбиво, а мне горе лютое». Много рифм находим в «Слове о хмеле» в списке 1470-х годов: «...долго лежати — добра не добыти, а горя не избыти, лежа не мощно бога умолити, чти и славы не получитьи, а сладка куса не снести, медовыя чаши не пити, а у князя в нелюбви быти». Относительно истоков этой рифмованной речи сомнений быть не может: она идет от скаморехов.⁴⁶

С другой стороны, рифмованная проза часто встречается на протяжении всего XVII в. — тогда, когда «правильное», «упорядоченное» силлабическое стихотворство переживало пору своего расцвета. Это, например, характерно для сатирической прозы. В «Сказании о роскошном житии и веселии», в его несомненно прозаическом массиве встречаются ритмизованные и рифмованные пассажи: «И то ево поместье меж рек и моря, подле гор и поля, меж дубов и садов и рощей избранных, езерь сладководных, рек многорыбных, земель доброплодных ... А по домам коней стоялых — аргамаков, бахматов, иноходцев, — кур и овец и лисиц и кунц, буйволов и еленей, лосей и соболей, и бобров, зайцев и песцов, и иных, одевающих плоть человеческую во время ветров, бесчисленно много ... И ту всяк пришед пей да и на голову лей ... А жены там ни прядут ни ткнут, ни платья моют, ни кроют,

⁴⁵ С нашей точки зрения, разумеется, не всякий облаченный в стихотворную форму текст можно назвать поэтическим. В России это отметил еще Феофан Прокопович: «... история, подчиненная закону описывать подлинные события и то, как они совершались, лишена вольности измышлять правдоподобное. Поэтому, даже написанная стихами, она остается историей, а не поэзией» (Феофан Прокопович. Сочинения. Под редакцией И. П. Еремина. М.—Л., 1961, стр. 348). Однако для древнего периода русского стихотворства достаточно, как кажется, руководствоваться правилом: если автор и читатель воспринимали некий ритмически организованный текст как нечто качественно отличное от текста ритмически «нейтрального», то этого достаточно для занесения первого в стихотворную рубрику.

⁴⁶ См.: Д. С. Лихачев. Социальные основы стиля «Моления Даниила Заточника». — ТОДРА, т. X. М.—Л., 1954, стр. 114—115; П. Н. Берков. Русская народная драма XVII—XVIII веков. М., 1951, стр. 31.

ни шьют... И кроме тех радостей и веселья, песен, танцеванья и всяких игр, плясанья никакия печали не бывает... А кого перевезут Дунай, тот домой не думай... А там кто поживает, тот таких роскошей век свой не забывает». ⁴⁷

То же и в других произведениях демократической сатиры (имею в виду прозаические, а не стихотворные, вроде «Повести изрядной о куре и лисице»). Впрочем, Л. И. Тимофеев пользуется в первую очередь материалом, не связанным непосредственно с фольклором, а последнее характерно как для прозаических, так и поэтических сатир. Но ведь в «Очерках» даны образцы рифмованной речи и из некоторых произведений второй половины XVII—конца XVIII в. ⁴⁸

Получается, таким образом, парадоксальная ситуация: проза «бродит» стихом не только накануне и в период зарождения силлабического виршеписания, но и тогда, когда оно уже уступило место силлабо-тонике. Отсюда следует, что процессы развития ритмической и рифмованной прозы и силлабической поэзии от неравносложных стихов к равносложным были параллельными и не связанными генетически. Разумеется, расцвет рифмованной прозы в период Смуты, совпавший по времени с формированием русской силлабики, хотя и в первоначальных видах, в какой-то степени «подкрепил» ее. Люди, читавшие вирши Хворостинина и Шаховского и прозаические произведения с частыми рифмами или рифмоидами, несомненно, обращали внимание на это обстоятельство. Однако далеко идущих выводов по этому поводу делать нет оснований.

Мне кажется, правы В. П. Адрианова-Перетц и Д. С. Лихачев, разделяющие эти два течения: «Стихотворные жанры в русской литературе формируются во второй половине XVII века, однако и в произведениях первых десятилетий века заметно, с одной стороны, стремление в особо напряженных, эмоциональных частях повествования на исторические темы строить ритмические ряды синтаксически однородных фраз; с другой стороны, делаются первые попытки все содержание излагать неравносложными рифмованными строками, еще далекими от силлабических стихов, но идущими в направлении к ним». ⁴⁹

Сам факт появления ритмической и рифмованной прозы не должен нас смущать: подобные образования известны в литературе различных европейских народов, причем, это следует подчеркнуть, ритмическая и рифмованная проза появляется вслед за «поэтическими» этапами в развитии литературы, в частности после безраздельного господства феодальной эпической поэзии.

Рифмованные повести о «Смуте» не знаменовали собой внезапное пробуждение поэтического чувства, оно было присуще русскому народу всегда: в XI в. примерно в той же степени, что и в конце XVI, в той же степени, что и другим европейским народам. Своеобразие русского культурного процесса состояло в том, что эти потребности в течение долгого времени удовлетворялись за счет народного творчества, которое, по-видимому, наряду с синкретическими жанрами использовало и декламационный стих, в XVII в. получивший реализацию, например, в «Горе Злоча-

⁴⁷ Русская демократическая сатира XVII века. Подготовка текстов, статья и комментарий В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1954 (серия «Литературные памятники»), стр. 39—42.

⁴⁸ Л. И. Тимофеев. Очерки теории и истории русского стиха, стр. 218—219, 232 и сл.

⁴⁹ В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев. Русская демократическая поэзия XVII века. — В кн.: Демократическая поэзия XVII века. Библиотека поэта. Большая серия. М.—Л., 1962, стр. 8.

сти», а ранее отразившийся в «Молении Даниила Заточника» и «Слове о хмеле».

Появление письменной поэзии на рубеже XVII в. объясняется тем, что в это время фольклор стал уходить из города, это вело к созданию книжной поэзии, как высокой, силлабической, так и тонической, народной, представленной ранее единичными записями, а от XVII столетия сохранившейся в довольно большом количестве списков. Усиление роли города, посада — вот причина возникновения стихотворства XVII в. Несмотря на исключительную самобытность русской литературы, переломные моменты ее развития совпадали с аналогичными моментами в истории западноевропейских литератур в том смысле, что их вызывали к жизни сходные социальные и общественные явления. Это относится, в частности, к рифмованной прозе «Смутного времени», которая была вызвана к жизни усилившимися городскими и светскими слоями населения, так было, например, в Чехии в эпоху Карла IV.

Как видим, к сожалению, концепция Л. И. Тимофеева не объясняет, почему «чуждая» польско-украинская силлабическая система так прижилась в русской литературе и просуществовала почти два столетия.⁵⁰ Существуют также попытки связать силлабический стих с русскими дольниками, в частности с различными модификациями четырехдольника.

Но в этом случае игнорируются особенности живого русского языка XVII в.; произносительная норма, оформившаяся в период существования силлабики. «Стихи скандировались по слогам — с выделением каждого слога, — пишет И. П. Еремин. — Такое чтение привело и не могло не привести к тому, что неударные слоги стали произноситься с той же четкостью, что и ударные; различие между неударным и ударным слогами резко ослаблялось, если не стиралось совсем».⁵¹ Итак, акценты искусственно подравниваются, дольники же требуют по крайней мере одного сильного ударения. Однако все эти попытки интересны и поучительны в том смысле, что они еще раз демонстрируют необходимость поисков органической связи силлабики с каким-либо из исконно русских или по крайней мере давно на Руси прижившихся поэтических явлений — либо с фольклором, либо с литургической поэзией и т. д. Пока еще рано делать прогнозы; решение этого вопроса возможно лишь после совместной работы историков литературы, лингвистов и музыковедов. Только такое комплексное изучение может дать хорошие результаты.

Для русской письменной поэзии XVII в., особенно второй его половины, характерно сосуществование искусственной, «высокой» поэзии и поэзии демократической, стоявшей на грани между фольклором и письменностью и развивавшей различные виды тонического стиха.⁵² В связи с этим необходимо оценить, с одной стороны, удельный вес «демократической» поэзии в общем потоке литературы XVII в., с другой же — удельный вес силлабического стихотворства.

В этом направлении пока еще, к сожалению, ничего в сущности не сделано. Исследователи обычно ограничиваются констатированием того факта, что силлабическое стихотворство культивировалось представителями и идеологами феодальных верхов, в то время как питавшийся фоль-

⁵⁰ Нам известны, например, надгробные стихи И. Диаковского, написанные в 1794 г. См.: ЧОИДР, 1899, кн. 2, отд. 5, стр. 12—14.

⁵¹ И. П. Еремин. Симеон Полоцкий — поэт и драматург. — В кн.: Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.—Л., 1953 (серия «Литературные памятники»), стр. 257.

⁵² См.: В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев. Русские демократическая поэзия XVII века.

клором тонический книжный стих, в разных видах реализованный в эпосе, лирике и сатире, обслуживал посад, низшее духовенство и т. д.

Немногие русские и украинские руководства по стиховорству⁵³ вряд ли окажутся полезными в разработке этой проблемы. Статья «о пришельцах философах» Максима Грека, грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого, отдельные рукописные статьи XVII в. трактовали «о художестве пиитическом», по признанию их авторов, «не толико ради употребления, елико ведения»: рассуждения авторов о системе стихосложения, основанной на чередовании долгих и кратких слогов, чисто умозрительное разграничение русских гласных звуков по количеству (как известно, различие между долгими и краткими исчезло в русском языке еще в дописьменный период) не находили обычно подкрепления даже в стихотворных примерах, предложенных составителями грамматик. Стихотворения, включавшиеся в руководства с целью «украшательства», писались в силлабической манере — либо неравносложными стихами, скрепленными рифмой, либо правильной силлабикой.

Для выяснения функции силлабической поэзии в литературе XVII в. следует еще раз обратиться к рукописному материалу. Только тогда можно будет сделать вывод о том, насколько она была распространена и какие слои читателей в действительности обслуживала.⁵⁴

Видимо, в поэзии XVII в. существовала, если можно так выразиться, поэтическая вертикаль: фольклор—его книжные обработки и книжная песня⁵⁵—силлабические вирши. Будущему историку стиховорства этого

⁵³ См.: В. Н. Перетц. Малорусские вирши и песни в записях XVI—XVIII вв. — ИОРЯС, т. IV, кн. 4, 1899, стр. 1218 и сл. (в отдельном оттиске стр. 71 и сл.).

⁵⁴ По заявлению А. В. Позднеева, «виршевая поэзия не имела читателя» (А. В. Позднеев. Проблемы изучения поэзии Петровского времени. — В кн.: XVIII век. Сборник 3. М.—Л., 1958, стр. 30). Это категорическое заявление нуждается, конечно, в проверке. А. В. Позднеев, много занимающийся историей книжной песни, в том числе и силлабической [см.: А. В. Позднеев. Рукописные песенники XVII—XVIII веков (Из истории песенной силлабической поэзии). — Ученые записки Московского государственного заочного педагогического института, т. I, М., 1958, стр. 5—112], пишет: «В сознании грамотных людей XVII—XVIII веков существовало строгое разграничение между книжной искусственной (литургической) песней, которая бытовала в пении, с одной стороны, и стихотворными произведениями, в том числе виршами... которые были назначены для чтения, — с другой» (А. В. Позднеев. Проблемы изучения..., стр. 30). В рукописях второй половины XVII в., по данным А. В. Позднеева, известно 380 (!) списков книжных силлабических песен — и светских, и примыкающих к гимнографии.

Уже этот факт должен настораживать: действительно ли у виршевой поэзии не было читателя? Усвоение силлабической системы в столь многочисленных песнях (значит владение ею многими авторами), не есть ли это показатель распространения виршей?

Песенное творчество, которое А. В. Позднеев считает главным и чуть ли не единственным лирическим элементом в поэзии XVII в., заслуживает самого тщательного исследования. Однако нельзя забывать о «песенном консерватизме», который затрудняет отнесение текста к определенному моменту литературной истории и который был отмечен еще В. Н. Перетцом. Разбирая одну из песен в записи или обработке Егора Столетова, В. Н. Перетц писал, что она «прожила почти полвека и сравнительно мало пострадала... вероятно, в значительной мере содействовало ее сохранности то, что она пелась, была связана с музыкальным мотивом, который не дал тексту обособиться и утратить первоначальный размер» [В. Н. Перетц. Очерки по истории поэтического стиля в России (Эпоха Петра Великого и начало XVIII столетия). — ЖМНП, 1905, октябрь, стр. 367].

⁵⁵ Ко второму слою нужно отнести, по всей видимости, и лирические «умиленные», «покаянные», «прибыльные» стихи XVI—XVII вв., дальнейшее изучение которых, вероятно, поможет заполнить «поэтическую лауну» между Киевской Русью и XVII в. См.: В. Перетц. К истории древнерусской лирики. («Стихи умиленные»). — Slavica. roč. XI, seš. 3—4. Praha, 1932, стр. 474—479; В. И. Малышев.

периода нужно установить формы и интенсивность взаимовлияния и взаимопроникновения этих поэтических слоев. Отношения демократической поэзии к поэзии устной в XVII в. «были очень неустойчивы. Демократическая поэзия постоянно колебалась между книжной поэзией и поэзией устной. Поскольку произведения устной поэзии в это время начали записывать и переписывать, они становились уже явлениями не только фольклора, но и литературы. В эти записи, как и в возникавшие на устнопоэтической основе литературные произведения, иногда проникали книжные элементы. Но в целом они оставались по своей поэтике ближе к устной традиции. Эта традиция преобладала и в поэтической системе демократической литературной поэзии».⁵⁶

С другой стороны, известно немало фактов, когда вирши «опускались» в народную поэзию: это относится и к книжным песням, о которых уже говорилось, и к некоторым старообрядческим духовным стихам («... сборники духовных стихов, известных у старообрядцев, представляют как бы слияние старых и новых поэтических элементов: здесь и остатки виршевой поэзии юго-западной России в неизменном, почти неприкосновенном виде, как и в других сборниках XVIII в., и наряду с этим — переработки, или вернее подражания, с новым содержанием ... В заключение — ряд бытовых и исторических вирш, отражающих как события умственной и внешней жизни раскола, так и события общерусского народного значения»)⁵⁷.

Наконец, поэзия XVII в. должна изучаться в соотношении с прозой. Отношение к стихотворству его творцов не было неизменным на протяжении конца XVI—XVII в. Если К. Транквиллион считал стихи украшением мысли, «сладкой мовой под метри», не придавая этому самодовлеющего значения, то столетие спустя Феофан Прокопович уже отождествлял литературу и поэзию, считая, что лишь последняя может быть названа «искусством изображать человеческие действия и художественно изъяснять их для назидания в жизни».⁵⁸ Курс поэтики, читавшийся Феофаном Прокоповичем в 1705 г., уже содержал основные положения эстетики классицизма, в общем игнорировавшего прозу. Разработки в этом направлении должны вестись одновременно с анализом силлабической поэзии «изнутри» — выяснением круга проблем, которые ее интересовали, классификацией по жанрам, изучением художественных приемов и средств. Обилие виршей, писавшихся буквально по каждому поводу, наводит на мысль, что русские виршевики XVII в. ставили перед собой задачу создания литературы.

Стихотворная параллель к «Повести о Горе и Злочастии». — ТОДРА, т. V. М.—Л., 1947, стр. 142—148; В. А. Позднеев. Стихи «прибыльные» в списке XVI в. — ТОДРА, т. XVIII. М.—Л., 1962, стр. 309—310.

⁵⁶ В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев. Русская демократическая поэзия XVII века, стр. 17.

⁵⁷ В. Н. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы, т. I. СПб., 1900, стр. 418.

⁵⁸ Феофан Прокопович. Сочинения, стр. 346. Любопытные данные по этому вопросу см.: В. Н. Мочульский. Осношение южнорусской схоластики XVII в. к ложноклассицизму XVIII в. — ЖМНП, 1904, август, отд. II, стр. 361—379 (также отдельный оттиск: СПб., 1904, стр. 21).